

## *Алексей Бухаровский*

### САПОЖОК

Случилось это в деревне одной Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Теперяча, конечно, она к другой области относится, но когда ее основал казак по имени Терех, была она в Пермской губернии и называлась по имени того самого казака – Терешата.

От дороги-то деревню и не видать было, поля да поля, за полями лесок, да болото, а деревня-то у самой воды пряталась. У реки вся жизнь и крутилась. Историй-то и о реке, и о Терешатах не счесть. Но вот про сапожок я не то, что слышал, а прям людей тех знал, с кем, значит, оно все приключилось.

Дело было аккурат перед самой войной. Жила в Терешатах девчонка одна, Александра, но, понятно, все ее Шуркой кликали. Шурочка, да Шурочка, а девка-то к восемнадцати годам поспела вовсе, женихи уж вокруг вьются. А тут она мать-старушку схоронила и одна-одинешенька осталась. Времена-то такие были, что в город не уедешь, только при колхозе все и робили. Ну, подружки, знамо дело, давай Шурочку подпихивать: что, мол, кобенишься-то, и хозяйство содержать одной в тягость, и женихов не ровен час всех расхватают. Ну, Шурочка-то все смехом, говорит: я ешо погожу, может, получше объявятся! А тут с соседней деревни, из Жукова, значит, — она от Терешат-то недалече, километр, не более – пришел паренек к ейной подружке. Сапоги принес. Отец у парня-то – Петр Евсеич, значит, знатный сапожник был, и не то, что сапоги, но и туфли любые стачать мог. А Степан, сын его, тоже, значит, по сапожному делу. Ну, отец его послал заказ отнесть, мож что сладится с заказчицей. Степан-то сурьезный парень был, за девками не бегал, книжки любил читать, учителя в школе его завсегда в пример ставили. Принес он, значит, сапожки-то, а там в гостях-то Шурочка и была. Встренулись они глазами, и прям сразу полюбились. Вот как вроде и ждали они друг друга, как лебеди все прям, парой да парой... Ну после того вечера, может, неделя прошла, не более, и Степан родителям говорит: «Засылайте сватов в Терешата, женюсь».

Свадьбу сыграли после майских праздников. Степан к Шурочке переехал, а то у ей изба пустая, а в Жуково-то у Степана мать, отец, баушка да брат меньшей – Колька, да про того отдельный разговор-то дальше будет.

Ну, только Степан с Шурочкой зажили, и на-ко... Война началась с немцами. И прям в сорок первом, по осени, Степана на фронт и забрали. Шурочка-то уж беременная была. Токмо семья сложилась, а тут обратно одна, да с дитем на руках оставаться. Степан-то говорит: «Ты не пужайся, война-то недолгая

будет, еще месяц-два, да и кончим фрицев», тогда многие так думали: шибко Сталину доверяли.

И вот ужо повестка на комодѣ лежит, и Шурочка вся уревелась-то, а Степан чой-то взял инструмент сапожный-то, да и давай что-то там тачать. Сидел, почитай, всю ночь, а на утро показывает Шурочке-то сапожки. «Глянь, – говорит, – какие сапожки я нашему сыну стачал». Шурочка ему: «Да почто ты знаешь-то, что сын будет?!». А Степан-то одно свое: «Знаю точно – сына родишь. Вот как пятый годок ему пойдет, сапожки ему в самую пору будут», А сапоги и впрямь – одно загляденье: мягонькие, с каблучком, да каждый гвоздик как узором в подошве светится – от души сработано. Шурочка говорит: «Поди еще не одни сапоги изладишь, вернешься и изладишь, зачем заранее-то?». Степан усмехнулся, да так невесело и говорит: «Не спалось чей-то, так чтоб не зря папиросы смолить, поработал малость»,

Ушел он на войну-то, а через месяц аккурат похоронка: сложил, мол, буйну голову, не ждите вы его. Так-то вот. Ну бабы-то на слезу податливы, а тут-то и вовсе. Так надрывалась Шурочка, что аж на другом берегу собаки завыли: война, мужа убили, а она на сносях, что делать?! Ну, мужнина родня-то и говорит: переезжай к нам, не чужой ты нам человек, и от Степана дитя носишь. А Шурочка-то говорит: «От меня вам одни несчастья, не поеду, одна жить стану».

Только сорок дней по Степану-то справили, а тут Петра Евсеича призвали. И так уже всех мужиков подсобрали, что одни бабье да ребятишки в деревнях остались. Ну что делать-то – жить-то надо. Срок подошел, Шурочка-то сына и родила. Уж такой мужичок народился справный, вылитый Степан. И назвали-то в честь отца – Степан Степанычем. Родня-то мужняя Шурочке помогала, Колька-то и вовсе каждый день у Шурочки: дядя как-никак. Дрова колет, огород копает, да только все на Шурочку-то не по-родственному глядит. Хоть он ее на три года и младше был и девок полно, а он к ей присох, прям как привороженный.

Со Степаном-то они по характеру шибко разные были. Степан-то степенный, рассудительный, а Колька-то «сорви голова», учиться не заставишь, кони одни на уме с малолетства, через это и охромел. Коня объезжал, а тот его о забор-то и приложил. Хромал-то он не сильно, отец ему ешо стельку специальну вырезал, когда в обувке-то и вовсе не видать было, что нога калечная. однако комиссия Кольку для фронта забраковала, так он на конезаводе и остался. В сорок третьем погиб Петр Евсеич, и стал Колька главой семейства. Малой племяш-то его признает, на руки просится, щетину тербит. Ну когда уж Николай совсем к Шурочке приступать стал, она и уступила. Не гоже пацана без отца-то растить: сама-то она все о Степане тосковала, уж больно в сердце он ей запал, да и сын-то его Степан Степаныч – прям копия отца и на лицо, и по манерам. А сапожки, что отец ему

смастерил, так из рук не выпускает. Все ждет, когда они ему впору будут, чтоб на улицу в них выйти.

Войне конец пришел, Шурочка уж от Николая беременна ходит. А Кольку-то аж директором конезавода поставили. Он в партию вступил, важный стал. Пешком и вовсе не ходит, все верхом да верхом. Говорит: «У меня нога поврежденная, а дел тыша, не наковыляешься за вами, бездельниками». Мерин у него был рыжий такой, Бураном звали. Вот он все на этом Буране и раскатывал.

А тут случилось вот что. Баушка-то старенькая сидела с внуком, Степан Степаныч который. Ну и давай фотокарточки смотреть. Степка-то и спрашивает: «Это ктоо, а это кто?». Ну, баушка ему и говорит: «Это папка твой, Степан Петрович, а это дядька, Николай Петрович». Степка-то хоть и мал был, а понял, что папку-то его на войне убили. Дома-то Кольке и говорит: Так ты не мой папка! Мой папка геройски погиб, пока ты на мерине своем катался!», ой что тут было... Колька-то на Шурочку с кулаками: «Кто рассказал? Зачем мальцу все обсказали, он же меня за отца считал», Ну дознались, что баушка разболтала. А слово-то не воробей: вылетит, не поймашь. И только с того момента не заладилось у Степана с Николаем. Чуть что Степка за свое: «Мой батя – герой, он на войне погиб, а ты дядька мой, и мне не указ».

Николай аж зубами скрипел. И так-то брат его покойный Степан для всех примером был, и батя их, Петр Евсеич, бывало, выпорот Кольку, да обронит сгоряча: «В кого он такой? Брат-то Степан – золото, а этот...». А тут сын Степана – сам с вершок, и то его попрекает.

А тем временем Шурочке время рожать подошло, а разродится она не может. Повезли ее в больницу. Остался Степка с Николаем один на один. Николай, знамо, волнуется – первенец его на подходе. Сидит у окошка, смолит папиросы одна за другой. А Степка нашел сапожки, что отец его стачал. Мать-то их все прятала, а тут Шурочка в больнице, Николай сам не в себе. В общем, одел Степка сапожки, а они ему как раз впору. Пошел он на улицу, и всем встречным хвалится: «Гляньте, какие у меня сапожки, совсем мне впору пришлись. Это мой батька стачал перед тем, как на войну уйти», А сапожки и впрямь мальчонке по ноге, сидят как влитые. Ходил-ходил Степка по деревне, пока его соседка за руку домой не привела. Пристыдила она Кольку. «Что, – говорит, – не нужны никому чужие дети-то? Дите, небось, голодное по лужам ходит, того и гляди простынет: ветер-то вона какой. Как на Урале-то говорят: Марток – надевай трое порток. Слава богу, – говорит, – что его родный отец Степан Петрович с того света о нем позаботился. Сапожки-то сухонькие, вот же мастер был, царство ему небесное... «, Ну, распекала она Кольку, пока он не матюгнулся и не выгнал бабу со двора. «Сами, – говорит, – разберемся. Нечего в чужую семью лезть». А Степка по избе в отцовских

сапогах вышагиват, да приговаривает: «Моего батьку все любили, а тебя, дядька, не любят. Ты моему батьке не чета».

Что уж тут случилось с Колькой, одному богу известно: может, все старые обиды, от брата полученные, вспомнил, может, соседка его так забрехала... Схватил он Степку за шею, да прижал к стене. Говорит: «Нету, нету у тя батьки, я теперь твой батька, я». Когда опомнился, глядь, а Степка-то уж посинел. Мальцу много ли надо. Ручки-ножки повисли, и только сапोजок один с ноги-то спал. Колька понял, что натворил-то. Покаяться? Так тюрьма, а по тем временам и вышку дать могли. В любой момент с больницы приедут, Шурочка-то разродилась-нет... Куда тельце-то девать: на улице светло, с окошка соседи углядят. Схватил он Степку в охапку, и в подпол. Раскидал картошку по углам и давай копать, земля-то твердая, дресва... Он за ломом сбегал... Выдолбил могилку и уложил туда Степку. Только присыпал, а в окошко уже стучат. «Проставляйся, папаша, – кричат, – сын у тя родился», Выскочил Колька из погреба, глядь, а сапोजок-то на полу лежит. Он его за пазуху и на мерина своо верхом, и в больницу. Соседи-то улыбаются: ишь, как обрадовался мужик-то, сын родился. А Колька-то скачет, как будто черти за ним гонятся, перед глазами-то Степка мертвый, то брат его Степан, то Шурочка. Остановился он у реки, подбежал к берегу морду умыть, а на реке-то ледоход, льдины-то одна на другую наезжают, только треск стоит. Наклонился Колька к воде, а из-за пазухи сапोजок-то и выпал. Ладный такой, гвоздики на подошве ровненькие, блестят, как алмаз, аж глаз слепят. Кинул Колька сапोजок в реку, как чумной вспрыгнул в седло и погнал. Так решил, будь что будет, не сознаюсь нипочем!

Пригнал в больницу, а Шурочка места себе не находит, и младенец только народился, а она на Кольку: «Степка-то где?! Почему ты его одного оставил, к матери бы свез. Езжай за ним, привези мне его сюда», И в слезы. Колька только на маленького глянул, и опять в седло. Десять верст отмахал лихо, забежал в избу и громко-то так орет: «Степка, Степка», – чтоб соседи слышали. Потом на улицу выскочил, давай по соседям бегать: «Степку не видали?», Соседи-то сами переполошились: «недавно, – говорят, – сапожками хвалился». Дело к вечеру, вся деревня Степку ищет. Сам Колька на мерине своем вдоль берега рыщет, Буран-то его аж в пене весь. Назавтра милиционер с району приехал, у директора конезавода сын пропал, шутка ли... Уж пять деревень в поиске. А на третий день приехал мужик с Багаряка, а в руках-то у него сапोजок. На отмель выкинуло вместе с льдинами. Ну, тут уже всему конец. Порешили так, что пошел Степка по льдинам в новой обувке походить, да и унесла его река. Тело так и не нашли, да и вряд ли нашли бы: мож, река в озера унесла, может, зверь какой уташил. Тогда ж и волки, и медведи водились во множестве. А мальчика-то и лисы уволочь могли.

Про то, как Шурочка убивалась – отдельный сказ. Все думали, что она умом тронулась. Уж так ревела, так она волосы у Кольки с башки рвала. И если бы не малец новорожденный, то уж точно руки бы на себя наложила.

Время шло, про утопшего Степку стали забывать. Сына Колькиного назвали Николаем. Сам Колька и настоял, в честь брата первого сына назвала, а в честь меня? Что я, рожей не вышел?! Говорили ему люди, мол, брат-то твой погиб, вот и назвала в честь него. Ничего не хотел слушать, как с цепи сорвался. Ну, назвали сынишку Николаем. И вышел Николай Николаевич – точная копия Степан Степаныча. Ясно дело – братья же. На народ в деревне это сходство очень подействовало. Бывало, гуляет Шурочка с сынишкой, соседские бабки аж крестятся. «Одно лицо, – грят, – как и не исчезал Степка-то».

Сапожок-то, что из реки выловили, Шурочка на полатях схоронила, завернула в тряпицу, да в уголок запрятала. Николай сжечь предлагал, да она не дала, оцетинилась, словно рысь. «Не трожь, – грит, – память! По мужу моему и по сыну»,

Не все гладко у них в семье стало, только сынишка их и держал. Колька-то шибко рад сыну был. С малолетства его на коня брал, яблоки, мед, конфеты с району привозил, все для маленького Коленьки. Один раз увидел, что сынок его в сторону речки побежал – вода-то от конюшни вона – рукой подать – так нагнал его и ремнем так всыпал, что деревня на рев детский сбежалась. Но никто не осудил. Люди с пониманием отнеслись... Один утоп, так второго пуще глаза берегут от реки-то!

Николай и сам уже уверовал, что утоп Степка, время-то лечит, и раны лечит, и совесть лечит. И вот минуло маленькому Коленьке пять лет, полез он как-то на полати, да и отыскал сапожок-то. Вынул его из тряпицы и кричит: «Мамка, мамка, а где ж второй-то сапожок? Смотри, он же мне как раз впору», Шурочка сапожок отобрала, сама в слезы. А Коля-то ей слезы утират. «Не плачь, — говорит, — мамка, я сыщу второй сапожок, а не сыщу, так я и в ботинках похожу, что батя на день рождения мне купил», Малому-то про брата Степку, понятно, рассказывать не стали. Решили: мал он шибко, чтобы понять все, вопросами засыпет, сердце только надорвет матери. Да только шило в мешке не утаишь. И не ждал никто, да и специально-то так не делается. В общем, полез однажды малой в погреб за картошкой, и показалось ему, что блеснуло что-то на дне коробка-то. Ну, парень-то любопытный, взял ножик, да поковырял землю-то. Глядь, а это подошва с гвоздиками блестящими. Потянул на себя, да и вынул сапожок. Вспомнил он про такой же сапожок на полатях, слазил, достал его из тряпицы. Вот тебе и пара. Обрадовался, одел оба сапожка – они ему в самую пору, как вчера только и сшили их. Шурочка-то корову доила, а отца дома не было. Побежал Колька мамке хвалиться обувкой. Шурочка-то только глаза от ведра с

молоком отвела и глядит на оба сапожка, что пред ней стоят, у ей аж дыхание перехватило. А Колька-то смеется: «Вот, маманя, я те говорил, что и второй сапожок сыщется». Бабы говорят, что тогда Шурочка и поседела вся. Эх! Растрясла она Кольку-то, выпросила, где он второй сапожок нашел, Колька-то в погреб ее и свел. Копнула Шурочка поглубже, ну, тут косточки-то и показались. Поняла она все, да и что тут понимать-то было. Ясно все как божий день. Выть не стала, чтобы мальчика не пугать. Одеда она Кольку-то и вывела на дорогу, что в Жуково ведет. «Добежишь, – говорит, – до баушки-то», Колька говорит: «Знамо дело, добегу, а ты что ж мамка?!». «А я, – говорит Шура, – позже подойду. Молоко перелью, да приду. Беги, покажи баушке обувку-то новую», Ну, Колька-то и засеменял в Жуково. А тут и муж пожаловал. Привязал свово мерина, и в дом... Что уж там за разговор был, неведомо, да только когда Колька к Жуково подходил, услышал, как батина двустволка с двух стволов рывкнула. Удивился, конечно, но возвращаться не стал.

Николай помирал долго, пять дней маялся. Шура-то ему картечью всю внутренность продырявила. Ее арестовали, что да как?! Она молчит! Николай перед самым отходом покаялся и рассказал о душегубстве своем. Степку из погреба откопали и похоронили на кладбище, отпевали, все, как следует, как полагается. А Шуре пять лет лагеря дали. Адвокат склонял ее сказать, что оборонялась она, и ружье случайно выстрелило, но она отказалась. «Сама, – говорит, – я стреляла, сама... за сына за своего, за Степочку».

Вот такая вот история про сапожок-то. Ее многие знают, есть даже те, кто место указать может, где дом стоял и где погреб тот был. А я-то и сапожки те видел: знатная работа, залюбуешься, и гвоздики блестящие, как звездочки, аж глаза слепят.